

новится гуттаперчевой машиной и съ задеревенѣлымъ видомъ опять вкочивается порученный ему гвоздь.

О формализмѣ, сухости и безучастности петербургскаго человѣка говорилось и писалось много и больше всѣхъ И. Аксаковымъ, связывавшимъ этотъ формализмъ, будто бы чуждый русской жизни, только съ петербургскими канцеляріями. Это мнѣніе нѣсколько тѣсно и подчеркивалось Аксаковымъ ради болѣе наглядности его протеста противъ петербургскихъ западническихъ заимствованій. Люди петербургскихъ канцелярій (какъ и вообще всѣ исполнители) отличаются дѣйствительно сухимъ и безучастнымъ формализмомъ. Но развѣ нѣмецкіе или французскіе чиновники менѣе формальны и болѣе участливы? Сухой, черствый, послѣдовательный педантизмъ нѣмцевъ вошелъ даже въ пословицу и для насъ, русскихъ, онъ былъ всегда недостижимымъ идеаломъ, котораго приглашавшимся на русскую службу нѣмецкимъ администраторамъ водворить у насъ такъ и не удалось.

Двойная душа есть общій петербургскій признакъ, и эта двойная душа сидитъ въ каждомъ петербургскомъ интеллигентѣ. Интеллигента съ одною душою въ Петербургѣ нѣтъ. Но двойная душа—не двоедушіе. Этой черты тоже нѣтъ у петербургскаго человѣка. Интеллигентъ оттого и создалъ себѣ двойную душу, что неспособенъ на двоедушіе. Душа петербургскаго интеллигента раздвоилась оттого, что у него нѣтъ характера примирить свои личныя стремленія съ общими условіями жизни, которыя всегда были сильнѣе его и всегда его себѣ подчиняли. Оттого онъ и выработалъ въ себѣ особую механическую половинку души, которою живетъ при однихъ обстоятельствахъ, а другою половинкой, но уже живой души, живетъ, когда снимаетъ свой рабочій фартукъ и приходитъ домой.

Самая коренная и главная особенность петербургскаго человѣка, основная черта его общественной и личной фізіономіи, есть безхарактерность. Петербургскій человѣкъ ни въ чемъ твердо не увѣренъ, ничего онъ не знаетъ точно, не имѣетъ никакихъ основныхъ знаній, которыхъ ему и пріобрѣсти-то было негдѣ, потому что онъ всегда учился кое-гдѣ, кое-какъ и всегда очень лѣниво, только чтобы отбыть повинность. Поэтому-то петербургскій интеллигентъ, не чувствуя отъ того никакихъ затрудненій, можетъ легко ходить по двумъ дорожкамъ. Петербургскій человѣкъ собственно оппортунистъ, онъ всегда плыветъ по теченію и, какъ всѣ безхарактерные люди, считаетъ себя человѣкомъ съ твердыми убѣжденіями и правилами и очень высокаго мнѣнія о своей сознательности и о своемъ умѣ.

Теперешнее время выдвинуло въ петербургской жизни одно любопытное умственное явленіе, намѣтившееся настолько опредѣленно, что о немъ въ Петербургѣ уже говорятъ. Это явленіе—«молодые писатели» (ихъ такъ и называютъ), выступающіе въ качествѣ умѣренныхъ представителей поколѣнія 80-хъ годовъ, слагающагося при условіяхъ новѣйшей дѣйствительности (преимущественно петербургской). Нѣкоторые петербургскіе литературные кружки относятся очень враждебно къ «молодымъ писателямъ»:

они не признаютъ въ нихъ ни силы, ни даровитости, ни таланта; говорятъ, что «молодые писатели» сами себя раздуваютъ и сами себя рекламируютъ и потому ихъ нужно замалчивать. Едва ли это вѣрно. Если «молодые писатели» — будущая сила, то ихъ не замолчишь, а если они — безсиліе и пустой пробный шаръ, то одними разговорами о нихъ не создашь имъ того, чего у нихъ нѣтъ. Крупное или мелкое, сильное или слабое, но «молодые писатели» выражаютъ несомнѣнно новое теченіе въ петербургскомъ мышленіи, и отмѣтить его для публицистики обязательно, тѣмъ болѣе, что «молодые писатели» имѣютъ уже и своего молодого критика. Критикъ этотъ г. Р. Д. въ *Недѣль*.

Его попыткой отвести «молодымъ писателямъ» опредѣленное мѣсто, объяснить ихъ какъ преемственное явленіе, даже какъ поправку предъидущему литературному мышленію, я теперь и воспользуюсь. Мнѣніе г. Р. Д. не простая оцѣнка того или другаго молодого писателя. Нѣтъ, г. Р. Д. группируетъ ихъ въ *Новое литературное поколѣніе* (подъ этимъ заглавіемъ написана имъ въ *Недѣль* статья) и въ подробностяхъ устанавливаетъ законъ этого новаго литературнаго поколѣнія, являющагося на смѣну поколѣнію предъидущему и прокладывающему русскому художественному творчеству новый путь.

Наша реальная школа, — говоритъ г. Р. Д., — была отрицательною, но ея отрицаніе не распространялось на всю жизнь, какъ европейскій пессимизмъ, а было только отрицаніемъ русскаго «варварства» во имя просвѣщенія и человѣчности. Литература того времени извлекала изъ русскаго быта только такіе типы, которые она хотѣла осмѣять или заклеймить (Фамусовы, Собакевичи, Ноздревы, Обломовы, Хлестаковы и т. д.).

Правда, было въ русской дѣйствительности (все это говоритъ г. Р. Д.) и еще явленіе, тоже привлекавшее вниманіе литературы и на которое тогдашнее время возлагало всѣ свои управленія. Это была небольшая группа людей, преемственно смѣнявшихъ другъ друга и воспитавшихся на общечеловѣческихъ идеяхъ, которыя дали нашей литературѣ типы Онѣгина, Чацкаго, Печорина, Рудина, Базарова и проч., г. Р. Д. называетъ ихъ невольными протестантами, отщепенцами, чужаками на родинѣ, всемірными скитальцами. Изображая эти типы, наши художники сами же и развѣнчивали ихъ, показывая ихъ несостоятельность передъ жизнью, но это всегда были типы героическіе.

Поколѣніе сороковыхъ годовъ вѣрило въ индивидуальную мысль, въ человѣческій разумъ, въ героя просвѣщенія, но оно не сочиняло этого героя изъ головы, а довольствовалось только тѣмъ, что изображало «канунъ» предполагаемаго пришествія настоящихъ людей.

Но поколѣніе шестидесятыхъ годовъ на этомъ не остановилось и г. Р. Д. характеризуетъ его такъ: «Оно совершенно отдалось головнымъ, теоретическимъ идеаламъ. Недовольное природой и исторіей, оно рационалистически построило «новаго человѣка», весьма мало похожаго на дѣйствитель-

наго, и нашло въ себѣ способность увѣровать въ этого своеобразнаго го-мункула; для возведенія реальнаго человѣка въ идеаль, оно опорожнило его отъ всего того содержанія, какимъ наполнили его природа и органи-ческая жизнь наци, и вложила въ него заново-придуманную, новую душу. О такой операциі несомнѣнно свидѣлствуютъ всѣ оставшіеся отъ того времени идеалы. Припомните, наприимѣръ, Лопухова, Рахметова, Свѣтлова, Стожарова и т. п.».

Содержаніемъ идеаловъ сороковыхъ и всѣхъ послѣдующихъ годовъ до самаго послѣдняго времени было стремленіе къ героическому (это все говоритъ г. Р. Д. и я его цитирую очень подробно, потому что иначе бу-детъ читателю недостаточно ясно «новое» движеніе петербургской мысли). Человѣкъ, къ которому направлялись идеальные помыслы эпохи, неизмѣн-но противопологался толпѣ, массѣ общества, представлялся всегда героемъ, и непремѣнно героемъ особенной жизни, не похожей на обычную, съ ея «естественнымъ счастіемъ и горемъ, радостями и печалями. Такая простая жизнь объявлялась жалкимъ удѣломъ толпы, мѣщанствомъ, пошлымъ су-ществованіемъ. Герой долженъ быть чуждъ этой жизни и всецѣло отдаться своей высокой цѣли и своему великому дѣлу. Въ сороковыхъ годахъ это великое дѣло заключалось въ служеніи истинѣ, въ проповѣди любви и правды, въ борьбѣ со зломъ и насиліемъ, а въ шестидесятыхъ и семиде-сятыхъ годахъ оно заключалось въ служеніи народу. Это было героическое настроеніе, понимавшее жизнь только какъ борьбу за идеалы,—словомъ,— говоритъ г. Р. Д.,—то фанатическое настроеніе, которое заставляетъ че-ловѣка отрѣшиться отъ всѣхъ благъ и приманокъ жизни и позволяетъ ему совершать чудеса героизма и самоотверженія въ сферѣ общественной дѣятельности».

Новое поколѣніе (80-хъ годовъ) родилось скептикомъ и идеалы отцовъ и дѣдовъ оказались надъ нимъ безсильными. Оно не чувствуетъ ненависти и презрѣнія къ обыденной человѣческой жизни, не признаетъ обязанности быть героемъ, не вѣритъ въ возможность идеальныхъ людей. Всѣ эти идеалы—«сухія, логическія произведенія индивидуальной мысли» и для но-ваго поколѣнія осталась только дѣйствительность, въ которой ему сужде-но жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознаніемъ, что все въ жизни вы-текаетъ изъ одного и того же источника—природы, все являетъ собою одну и ту же тайну бытія, и возвращается къ пантеистическому міросо-зерцанію.

Молодыхъ писателей пока еще немного, пишутъ они недавно «и сре-ди нихъ не нашлось еще никого, кто подарилъ бы насъ крупнымъ ху-дожественнымъ произведеніемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова», но, тѣмъ не менѣе, въ цѣломъ наша новѣйшая художественная литература проникнута однимъ и тѣмъ же духомъ, «однимъ и тѣмъ же стремленіемъ реабилитировать дѣйствительность». Нѣкоторые изъ нихъ, правда, были

колённѣ, говорить, что гдѣ, что будетъ, никому неизвѣстно, что будущее составляетъ тайну природы и что эту тайну природы можетъ открыть внезапно любой «молодой беллетристъ», сидящій подъ своею смоковницею въ молчаливомъ созерцаніи природы и занимающійся «пантеизмомъ».

Ну, а нужно ли что-нибудь для этого знать? Знать—тоже ничего не нужно, потому что откровеніе, которое снизойдетъ само собою, сниметъ завѣсу со всѣхъ тайнъ бытія (молодые беллетристы, какъ рассказываютъ въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ, дѣйствительно все это утверждаютъ. Отрицаютъ они будто бы и образование, и науку,—вѣроятно, подъ вліяніемъ Л. Толстаго. А что эти толки о «молодыхъ беллетристахъ» недалеки отъ истины, можно заключить и изъ характеристики г. Р. Д., подтверждающаго ихъ вѣру въ наитіе).

Не выяснится ли лучше произвольная характеристика нарождающагося новаго петербургскаго поколѣнія и его «молодыхъ беллетристовъ», нѣсколько затемненная у г. Р. Д. способомъ его изложенія, слѣдующими сопоставленіями? Я только повторю отрицательный приѣмъ г. Р. Д.

Г. Р. Д. говоритъ, что всѣ прежніе идеальные (художественные) типы или люди были несостоятельны, но они всегда знали, чего хотятъ; теперешніе, значить, будутъ состоятельными, потому что не знаютъ, чего они хотятъ, и не имѣютъ никакого опредѣленнаго общественнаго плана въ жизни.

Поколѣніе сороковыхъ годовъ вѣрило въ индивидуальную мысль, въ человѣческую разумъ, въ героя просвѣщенія; теперешніе (молодые беллетристы) не вѣрятъ ни въ какого героя и ни въ какое просвѣщеніе.

Поколѣніе шестидесятыхъ годовъ сочинило теоретическій идеалъ и выдумало «новаго человѣка», опорожнивъ его отъ всего того содержанія, какимъ наполнила его природа и органическая жизнь націи; молодые беллетристы никакого человѣка не выдумываютъ, а изъ прежняго вынимаютъ его содержаніе и въ такомъ опорожненномъ видѣ заставляютъ его ждать, когда на нихъ (молодыхъ беллетристовъ) снизойдетъ откровеніе и имъ станетъ ясна тайна бытія.

По идеалу сороковыхъ и всѣхъ послѣдующихъ годовъ человѣкъ представлялся герою: въ немъ были гражданскія стремленія, онъ или проповѣдывалъ любовь, правду, справедливость, боролся со зломъ и насиліемъ, или же, какъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, хотѣлъ служить народу. Новому человѣку герою быть не полагается,—ему позволено только обзавестись молодою и красивою женою, уѣхать на лѣто на дачу и разводить цвѣты.

Идеалы 40-хъ и 60-хъ годовъ были лишь «сухими логическими произведеніями индивидуальной мысли», у новаго же поколѣнія (молодыхъ беллетристовъ) никакихъ индивидуальныхъ мыслей нѣтъ и для нихъ осталась «только дѣйствительность», въ которой имъ суждено жить, а потому все дѣйствительное они признаютъ справедливымъ и очень имъ довольны.

Признавъ, что ничто не можетъ быть лучше дѣйствительности, «моло-

А еще разговаривать —
в ушахъ доверно!



дые беллетристы» задались цѣлью ее «реабилитировать» и пропагандировать свои принципы беллетристическими произведениями.

Г. Р. Д., отрицая совершенно серьезно и убѣжденно все предъидущее движеніе русской мысли, даетъ, однако, такую характеристику «новаго поколѣнія» и «молодыхъ беллетристовъ», что, право, не знаешь, за что ее принять,—такъ она похожа на иронию. Но несомнѣнно, что все, что пишетъ г. Р. Д. о молодомъ поколѣніи и молодыхъ беллетристахъ, такъ и есть въ дѣйствительности. Они опорожнились отъ всего предъидущаго и эту пустоту еще ничѣмъ не заполнили.

Упадокъ мысли «молодыхъ беллетристовъ» видѣнь въ тѣхъ ничтожныхъ темахъ, которыя они разрабатываютъ. Темы эти берутся большею частью изъ газетныхъ корреспонденцій и дневника происшествій, и потому имѣютъ преимущественно полицейскій характеръ. Беллетристическія произведения молодыхъ беллетристовъ чаще всего художественный перифразъ газетныхъ сообщений о какомъ-нибудь мѣстномъ происшествіи или случаѣ,—перифразъ, сдѣланный иногда даже вовсе и не талантливо. Мальчикъ скралъ у родителей деньги и удралъ съ дѣвочкой-гимназисткой въ Петербургъ, собака съѣла котятъ, церковнаго старосту обманули воры, трусливый лѣсникъ не вышелъ изъ своей хаты на крикъ о помощи,—вотъ темы для художественнаго творчества молодыхъ беллетристовъ. Ужъ будто бы это пантеизмъ? Ужъ будто бы вся Россія до того опорожнилась, что для мыслящаго человѣка въ ней нѣтъ ничего, чтѣ хотѣлось бы ему понять и объяснить?

Да хотя бы и сами «молодые беллетристы»! Развѣ они не такое явленіе, надъ которымъ, прежде чѣмъ возводить его въ «перлъ созданія», какъ это дѣлаетъ г. Р. Д., слѣдовало бы призадуматься посерьезнѣе? Вѣдь, нельзя же превращать въ нуль всю умственную работу предъидущихъ поколѣній, выдвинувшихъ дѣятелей, которыхъ признаетъ и чтитъ вся просвѣщенная Россія и умственнымъ трудомъ которыхъ обновилась вся русская жизнь, и вмѣсто ихъ пропагандировать новыхъ вождей, рекомендуя ихъ, какъ людей, у которыхъ внутри пока еще ничего нѣтъ, которые еще ничего не сдѣлали и ничего не сказали, но которые современемъ (если ихъ посѣтитъ наитіе), можетъ быть, что-нибудь и скажутъ! А, кажется, только такую рекомендацію «молодымъ беллетристамъ» и сдѣлалъ г. Р. Д.

«Молодые беллетристы» —вполнѣ петербургское явленіе и продуктъ исключительно петербургскаго мышленія, для котораго весь міръ наблюденій ограничивается Зоологическимъ садомъ, Арнадіей, Казанской улицей и Невскимъ проспектомъ съ ихъ внѣшними порядками и благоустройствомъ. Это тотъ опорожненный Петербургъ, который теперь рѣшительно растерялся, весь ушелъ въ себя и ничего не видитъ, кромѣ себя. И, въ то же время, онъ сохранилъ всѣ свои основныя петербургскія черты: сильно развитое чувство личности (при безхарактерности и безличности), всегдашнюю свою способность плыть по теченію и наклонность мѣнять и сообразовать свое

Нод. 3-й акт

А еще развѣ можно въ —
в газетѣ Жуковскаго...

настроение съ новыми временами и новыми вѣяніями. Въ этомъ отноше-
нии Петербургъ уже, конечно, самый безличный городъ: это какая-то опа-
ра или тѣсто, которое всегда принимаетъ форму горшка, въ который его
положить. Даже кн. Мещерскій обозвалъ теперешній Петербургъ «размаз-
нею, которая ничего не можетъ дать, кромѣ прозябанія». Но этотъ Пе-
тербургъ опять только кружковый Петербургъ, и обобщать его нельзя ни
въ «новое поколѣніе», ни въ «Россію».

Теперешній Петербургъ меньше всего имѣетъ умственныхъ возможно-
стей возводить себя въ какую-либо идею, которую бы приняла Россія. Его
«новое», что нашло себѣ даже и литературное представительство въ лицѣ
«молодыхъ беллетристовъ», и ихъ критика, настолько чуждо тѣхъ вопро-
совъ, на которые Россія ждетъ отвѣтовъ, что теоретическія оправданія
дѣйствительности (индифферентизмъ и полное отчужденіе отъ жизни подъ
красивымъ литературнымъ названіемъ «пантеизма»), за которое взялись
«молодые писатели», сослужить плохую службу Петербургу. Прежде отъ
Петербурга Россія ждала идей и ихъ дѣйствительно получала, Петербургъ
будилъ мысль, изъ него шла жизнь и живое слово; теперешній же Петер-
бургъ рассказываетъ Россіи, какія у нея прекрасныя поэтическія степи,
какъ собаки поѣдаютъ котятъ и какъ мальчики дѣлаютъ не только всякія
глупости, но и всякія пакости. Такой Петербургъ, конечно, убѣдитъ скоро
Россію, что отъ него никакнхъ идей и ничего особенно умнаго ждать не
слѣдуетъ.

Теперешнему Петербургу едва ли даже и возможно установить свой ум-
ственный авторитетъ, потому что онъ находится въ положеніи улья, поте-
рившаго матку. У Петербурга нѣтъ умственного центра, нѣтъ никакой об-
щей связывающей всѣхъ идеи, нѣтъ общаго дѣла. И когда Петербургъ
очутился въ положеніи улья безъ матки, когда онъ рассыпался на свои
единичныя части, то каждая такая отдѣльная частица ухватила въ свои
инстинкты своего умственного самосохраненія за ближайшую и един-
ственно оставшуюся ей доступною общественную форму—форму кружка. А
такъ какъ каждый кружокъ имѣетъ передъ своими глазами только то об-
щее, которое его соединяетъ, то онъ это свое общее превратилъ во все-
россійское и мушку, которая его вылечила, желаетъ налѣпить на всю Рос-
сію. Тѣ, кто нашель свою мушку въ винтъ, совѣтуютъ и всей Россіи
играть въ винтъ; кто нашель свою мушку въ «Аркадіи»,—готовы всю Рос-
сію покрыть Аркадіями или превратить ее въ одинъ большой трактиръ
Палкина. Этого же закона обобщенія не избѣгъ и кружокъ «молодыхъ бел-
летристовъ», превратившій себя тоже во всероссійскую идею и даже въ
цѣлое молодое поколѣніе.

А, между тѣмъ, свою кружковость «молодое поколѣніе» могло бы легко
усмотрѣть изъ того, что Падсонъ разошелся чуть ли не въ десяти изда-
ніяхъ, могло бы усмотрѣть и въ тѣхъ симпатіяхъ, которыми пользовался

А еще разжемы от —

В городе Жуково!



Вс. Гаршинъ и которыми пользуется г. Короленко, и какими не пользуется ни одинъ изъ остальныхъ молодыхъ писателей. Причина этого, конечно, не въ меньшей талантливости этихъ остальныхъ. Г. Р. Д. называетъ Надсона, Вс. Гаршина и г. Короленко единственными изъ молодыхъ писателей, «продолжавшихъ традиціи прошлаго». Въ этомъ, конечно, только и причина ихъ успѣха. Очевидно, что «старое» лучше «новаго».

Петербургъ несомнѣнно утратилъ свое значеніе головы Россіи, какъ чего-то цѣльнаго и однороднаго, и, распавшись на кружки, напоминаетъ голову, думающую въ разбродъ отдѣльными своими способностями и нервно-головными центрами. Дѣло пошло еще и дальше. Въ петербургской журналистикѣ, — чего никогда въ ней прежде не было, — стало обнаруживаться такое «дифференцированіе», что сами кружки внутри себя начали распдаться на свои составныя части, стараясь освободить себя отъ собственныхъ центровъ. Въ одной изъ рецензій майской книжки *Свернимо Вѣстника* явилось даже и оправданіе подобнаго журнальнаго дифференцированія теоріей «солистовъ», какъ противопоставленіемъ теоріи «хороваго начала».

Это тоже преимущественно петербургское явленіе. Въ деревнѣ человѣкъ чувствуетъ себя свободнѣе и шире, онъ находится въ зависимости почти исключительно отъ силъ природы, онъ только ихъ во всемъ и видитъ и только съ ними и соображаетъ свои дѣйствія. Отъ этого-то деревенскій человѣкъ и по преимуществу консерваторъ. Въ петербургскихъ же каменныхъ катакомбахъ, гдѣ нѣтъ никакой природы, гдѣ все узко и тѣсно, — тѣсно до того, что люди и ходить-то должны въ извѣстномъ порядкѣ, въ линію, только впередъ и назадъ и кромѣ этихъ двухъ направленій имъ нѣтъ другаго выбора, — человѣку, наконецъ, становится уже очень тягостно, ему претягъ всѣ эти указки и, стараясь освободиться, онъ начинаетъ съ того, что ему легче сбросить, т. е. съ ближайшихъ личныхъ отношеній. Въроятно, отъ этого же и семейная жизнь идетъ въ Петербургѣ не союзомъ, а враждой, и люди женятся какъ будто только для того, чтобы потомъ весь вѣкъ освобождать себя другъ отъ друга. Катакомбная жизнь и два направленія, по которымъ людямъ только и предоставляется ходить, дѣлаютъ то, что петербургскій человѣкъ, увлекааясь мечтою о лучшемъ, становится «пантеистомъ» и «солистомъ».

Но это исходъ только лучшихъ и мыслящихъ людей. Немыслящіе (интеллигенція физиологическая или зоологическая), какъ пишетъ въ одной заграничной нѣмецкой газетѣ ея петербургскій корреспондентъ, получаютъ въ Петербургѣ совсѣмъ особый обликъ и образуютъ особый національный типъ — петербургскій: «Разсмотрите ихъ поближе, — говоритъ корреспондентъ, — и вы увидите нѣсколько внѣшнихъ признаковъ, хотя опредѣлить ихъ словами очень трудно. Блѣдные, скучающіе, наводящіе скуку и ищущіе наслажденій, во что бы то ни стало, но наслажденій варварской цивилизаціи...»

А еще разсказано от —

В газетѣ *Свернимо*!



Эту нервную породу, которой петербургская жизнь не дает никакого умственного и душевного содержания, могут шевелить только сильные нервные возбуждения, и понятно, что она за ними гонится.

Требовалось особое искусство, чтобы выдумать такую тягостную жизнь, какую выдумалъ себѣ Петербургъ. Въ немъ жизни нѣтъ и люди стараются только забыться на разныхъ ея суррогатахъ. Нервная торопливость, вѣчная суета, масса «дѣлъ», которую каждому приходится передѣлать въ день въ конторахъ и канцеляріяхъ, бѣготня по улицамъ, огромные «концы» и физическое утомленіе, слѣдующее за всѣмъ этимъ безтолковымъ, суетливымъ и спѣшнымъ движеніемъ, настолько поглощаетъ силы петербургскаго человѣка, что ему совсѣмъ не остается времени подумать, что и для чего онъ все это дѣлаетъ. Но отнимите отъ Петербурга его суетливое движеніе и уличную бѣготню, на которыхъ онъ забывается, и Петербургъ сталъ бы городомъ самыхъ несчастныхъ и скучающихъ людей въ мірѣ.

Суррогатное существованіе всегда очень томило Петербургъ и онъ постоянно придумывалъ одно за другимъ средства къ выходу въ настоящую жизнь. Но все, что онъ ни придумывалъ, было не средствами къ выходу, а только указаніемъ на то, чѣмъ онъ болѣетъ. Его вѣчный вопросъ: «что дѣлать» и его расселеніе интеллигенціи по деревнямъ, и его протестъ противъ «мѣсть» и «жалованья», и его теперешній «пантеизмъ», и его новѣйшая теорія «солистовъ» — только указанія на то, чего ему недостаетъ. Ему же недостаетъ только дѣла и возможностей для дѣла. Всѣхъ томить безцѣльность и бесплодность существованія.

Даже крайніе петербургскіе консерваторы почувствовали, что они рассыпаются какъ песокъ морской, что у нихъ исчезъ умственный цензъ, что ихъ «партія впала въ безначаліе», что ей нуженъ новый Катковъ. На это въ томъ же консервативномъ *Гражданинѣ*, кажется, самъ редакторъ отвѣчаетъ: «Явись теперь новый Катковъ, съ болѣе сильнымъ даже талантомъ, и тотъ оказался бы бессильнымъ. Катковъ былъ сыномъ своего времени и поэтому былъ бы немислимъ теперь, ибо онъ явился бы не въ свое время и обреченъ былъ бы на безсиліе... Катковъ съумѣлъ своимъ сильнымъ талантомъ публициста воспользоваться духовною мощью своего общества, — это безспорно; но не будь этой духовной мощи въ то время въ русскомъ обществѣ, Катковъ не могъ бы имѣть ни своей силы, ни своего положенія, ни своего обаянія. Это было въ самый разгаръ возрожденія русской жизни, два года послѣ 1861 года, когда все кипѣло жизнью, и именно жизнью духовною, когда лучшіе люди шли на общественную службу, когда въ каждомъ русскомъ человѣкѣ билось сильно сердце, когда либералы создали цѣлую Ніагару мыслей, стремленій, цѣлей въ руслѣ русской умственной жизни и этимъ самымъ вызывали къ жизни и противниковъ этого грошаднаго урагана, — словомъ, когда все, что дремало до того, проснулось и на борьбу выступили всѣ силы добра и зла, на борьбу жи-

Самыя мысли и чувства...

А еще разговаривать...

В чуждой обстановкѣ!



вую и, можно безъ преувеличенія сказать, народную, въ смыслѣ животрепещущихъ вопросовъ судьбы Русскаго государства, эпохою создавшихся... Но съ тѣхъ поръ мы прожили болѣе ста лѣтъ по духовному содержанію... Кто теперь зоветъ Каткова въ смыслѣ руководителя? Никто, потому что теперь нечего было бы Каткову дѣлать: нѣтъ мыслей и чувствъ, изъ которыхъ могла бы слагаться духовная мощь для его вдохновенія и укрѣпленія... Мы всѣ были тогда его силою и его броней. А теперь что мы стали? Мы стали размазней, которая ничего не можетъ дать, кромѣ прозвонія...»

Очевидно, что Петербургъ переживаетъ теперь умственный кризисъ, и не только его переживаетъ, но и начинаетъ его сознать.

Н. Ш.

<Н. В. Шелгунов>

А еще разъ скажу —

в горахъ Джерарта!